
Инна БЫКОВА

ПОИСК МЕТРА

Довольно правдивая повесть
с фантастическим уклоном
на основании легко опровержимых фактов
и непреложной истины,
сопровождаемая восхождением
с лугов прозы на возвышенность поэзии

1.1. Базель. Швейцария

Небо было такого нежного оттенка, какой бывает только у сильно разбавленного проворной рукой умелой и доброжелательной молочницы, чья покупательница, увлеченная пересудами с товаркой, вовсе забыла, зачем она пришла в магазин. Поезд пришел точно по расписанию в 8:00 в Базель СББ. Я с трудом спустилась на платформу из жарко натопленного щедрой рукой вагона ночного поезда Берлин—Цюрих. С трудом, потому что, кроме двух чемоданов в руках, на правом плече у меня висела довольно-таки увесистая сумка, а на спине я несла рюкзак, в котором со мной путешествовал по Швейцарии тот самый notebook, чьим клавишам я доверяю сейчас эти строки.

Если раскрутить глобус так, что континенты и океаны сольются в одну пеструю сферу и будут проноситься мимо, сначала быстро, потом постепенно все замедляя разбег, и вдруг, зажмурясь, пальцем правой руки взять да остановить эту веселую карусель, то всегда попадешь не в небо, а на землю. Если не очень повезет, то прямо в океанскую синеву, ничуть не уступающую по красоте оттенков небу, что с лихвой искупает опасность утонуть или быть проглоченным Левиафаном. Если повезет, то попадешь как раз на остров, с детства знакомый остров Буян. Случайно ли мы попадаем в те места, где мы родились, куда приезжаем на отдых, где стоит та башня и проплывают те облака, которые нам снились или о которых мы уже давно и тайно мечтали? «How did you get into...?» — Eine gute Frage, auf die man schlecht antworten kann.

Где кончается та держава случайного совпадения, где «запахи, казалось, готовые завопить», вдруг пропадают за углом и где начинаются владения непреклонной судьбы?

Я беру колоду карт с четырьмя мастями: вероятное, правдоподобное, истинное и ложное; старательно тасую ее и раскладываю пестрый пасьянс с необычными узо-

Инна Владимировна Быкова родилась в 1966 году в Ленинграде, окончила классическое отделение филфака ЛГУ. Автор статей о культурологии в «International Readings on Theory, History and Philosophy of Culture», эссе «Орнитология счастья» (Нью-Йорк, 2003) и книги рассказов «Освобождение» (2016, Твенти сикс, букс он деманд). Живет в Санкт-Петербурге и в Берлине.

рами: король с дамой и красная десятка легли направо, двойка налево. Туз ложной масти лег внизу. Пасьянс развлекает женское сердце в часы одиночества и легкой меланхолии. Зачем я приехала сюда? Заветная мечта стать доктором наук и сделать какую-никакую карьеру на научном поприще давно манила мое подвижное воображение. Швейцария, и это знает каждый бывший советский гражданин, есть страна нейтральная, давшая приют таким выдающимся (а главное, успешным) борцам с царизмом, как В. И. Ленин, Аксельрод, пробавлявшийся кефиром, Плеханов, который, однако, приучился было приподнимать котелок при встрече с представителями местной буржуазии, за что и был справедливо заклеен как ренегат возмущенными большевиками. Потом, спустя несколько десятилетий, уже другой сорт политических эмигрантов потек в хорошо защищенные от ветров исторических передряг закрома Швейцарии. Здесь были и шумный Солженицын, и тихий Некрасов, и «разбогатевший на страданиях бедной американской девочки» Набоков. Руки у меня чесались поскорее добраться до замечательных швейцарских архивов и откопать нечто сенсационное, неслыханное, написать об этом умную статейку, потом, глядишь, еще одну, еще одну, привлечь снисходительное внимание ученого мира и получить наконец место в каком-нибудь университете нашего хотя и тесного, по словице, но еще не вполне освоенного мира. Представит только, что в самом сердце пересохшей Сахары умные и добрые руки человека выстроили громадное здание из стекла и бетона — вот вам, бедуины, университет. Вот тут-то и подвернулась бы мне вакансия. Мечты, мечты!

Я вышла на вокзальную площадь с пятью гостиницами, названия которых навсегда запечатлелись в моем мозгу следующим образом (справа налево, по порядку): «Траектория», «Швайценегер», «Milton», «Eulenauglein» и «Swiss guy». Кстати, чтобы не забыть, привожу здесь (хотя и не совсем кстати) анекдот, случившийся в свое время с Тургеневым. Как-то Тургенев, будучи уже не на заре туманной юности, пришел в кафе, где собирались тогдашние сливки литературного Парижа. Сам он только что в Париж прибыл и не знал всех литераторов в лицо. Флобера он знал. Но тот отошел как раз в сторону, чтобы поцеловать ручку у одной еще не очень знаменитой, но еще вполне хорошенькой актрисы. Тургенев, крутя по своей дурной русской привычке бокал шампанского в руке, с любопытством оглядывался по сторонам. Его внимание привлек мужчина живописной наружности, который приглушенным голосом рассказывал истории собравшимся вокруг него мужчинам, от чего те периодически раздражались неудержимым хохотом. В это время Флобер, уже нацеловавшись с актрисой, подошел к Тургеневу. «Who is this guy?» — asked him Turgenieff. «This is Mopassan, but how did you know his first name?» — ответил удивленный Флобер.

Но я еще не дошла до моего будущего дома. Итак, я свернула налево и пошла все прямо и прямо, упрямо поправляя сползавшую с плеча сумку. Название первого ресторанчика, встретившегося мне по пути, привлекло мое внимание. Вывеска его гласила: «Pale fire». Дойдя до Kannenfelder Platz, я свернула направо и, минуя новую церковь, напоминающую своей фигурой скелет ископаемого доисторического завра, уже слегка под гору, добралась до дома 110 по славной улице Барона Мюнхгаузена, где меня уже ждала благожелательная пожилая, но все еще статная и внушительная консьержка фрау Нусбаум (в переводе на русский «крепкий орешек») со связкой ключей. О бессмертный Толстой, неужели слог мой порожден нездоровой завистью к твоим лаврам? Или неторопливый и обстоятельный немецкий язык уже успел наложить свою печать на мою (I confess!) довольно-таки безалаберную, легко поддающуюся под чужое влияние натуру?

Вселившись в квартиру со всеми удобствами и даже с лифтом, правда, без внутренней двери, по швейцарской моде, я первым делом записалась в университетскую би-

блиотеку. Я поднялась в книгохранилище, но нужной книги John Glad «Russian Exile» не оказалось на месте. Уныло побрела я вдоль плотно уставленных книжных полок, да все томами о России (тематическое расположение литературы), дошла до окна и с невольным вздохом вынула наугад черную книжку, не толстую и не тонкую, не вполне новую, но и не зачитанную, словом, книжку, которую только и стоило взять да прочитать. На корешке стояло тисненное серебром название «Pale fire», а под названием VLADIMIR NABOKOV. Перелистала: предисловие, стихи, потом что-то вроде комментария к стихам, все по-английски, непонятно, без послесловия издателя, где было бы все толково объяснено: кто автор, когда и почему написал эту книгу, а главное, о чем в ней говорится и почему так важно ее прочитать. Предисловие, подписанное Charles Kinbote, Oct. 19, 1959, Cedarn, Utana. Лицейская годовщина привлекла мое пушкинистское сердце, и я взяла книгу. С этого момента вся моя жизнь пошла наперекосяк.

1.2. Берег Рейна

Красная с золоченой росписью и разукрашенной крышей ратуша с трогательными башенками на большой башне. Отсюда два шага до левого берега Рейна, величаво текущего своим путем в Германию. Я вышла на берег и, глядя на реку, стала восстанавливать в памяти сюжет «Пэйл фая». В упрощенном виде вся история выглядит следующим образом. Charles Kinbote, очевидно филолог, немного мечтательного склада («Я в том большой беды не вижу»), молодой мужчина интересной наружности — его прозвище «The Great Beaver» вызывает в воображении каштановую бороду, густую каштановую же шевелюру и два белых, несколько выдающихся вперед больших верхних зуба, — комментирует поэму погибшего на его глазах друга — поэта John Samuel Shade. В переводе на русский фамилия означает «тень», что дает пищу различным толкованиям: или пожилой поэт имеет так называемые теневые стороны характера, или он сам стоит в чьей-то тени, или же он является сам чьей-то тенью. С другой стороны, если произнести это имя на немецкий лад, с несколько печальной интонацией, то получается Schade, что в переводе на русский дает нам «жаль». Набоков жалеет своего героя за то, что тот погиб той же смертью, что и отец Набокова. Так *qui pro quo* (ты убил не того) — прием, вообще говоря, комедийный — приводит к трагическому результату.

Тут мое внимание привлек полицейский катер, выплывший из-под *Mittlere Brücke*. Двое в мундирах шарили баграми в Рейне. Катер медленно плыл против течения. Что они могли искать в реке, что бы плыло против ее течения? Еще несколько человек остановились на мосту от любопытства. Катер поравнялся с лютеранским собором. Пожилой горожанин сказал: «*Ich habe gehört, eine Frau sei ertrunken*», покачал неодобрительно головой и пошел по своим делам. Русская народная сказка о несогласной жене вдруг живо вспомнилась мне. Я не стала, однако, дожидаться подтверждения или опровержения моей догадливости и пошла домой.

1.3. Кинбот и Шейд

Итак, два главных героя Кинбот и Шейд связаны друг с другом довольно запутанными отношениями (как это почти всегда и бывает). К слову, Шейд, может быть, был тенью великого Шекспира, к которому он часто обращается в пылу поэмы и у которого он при поддержке Набокова позаимствовал название книги: «*Help me, Will! Pale fire*». В таком случае Кинбот оказывается пародией на неумелого шекспироведа, готового все свалить в одну кучу и не умеющего отличить существенное от деталей, занятого ловлей блох вместо того, чтобы изучать повадки слона. Не могу забыть, как

один ретивый литературовед из Туманного Альбиона вменил Гамлету в вину ни больше ни меньше как неумение жить, то есть приспособливаться. Что тогда остается сказать о Дон Кихоте, Пьере Безухове и Годунове-Чердынцеве?! Неумехи, неудачники! Все литературоведение можно и впрямь свести к этим двум словам. Да и к чему она нам, такая литература о чудаках и неудачниках? Но на какую рапиру сарказма можно было бы нанизать всех горе-литературоведов?

Итак, далее (не путать с «и так далее!»). В предисловии рассказана коротко история знакомства Кинбота с Шейдом и его женой Сибил. Действие происходит или, как это принято говорить, разворачивается в маленьком университетском городке New Way, что сразу вызывает следующие ассоциации: Нью-Вью, Нью-Йорк и Новый Путь, идя которым мы почему-то приходим к Хиппи-Ус. Не совсем понятно почему, но задавать вопросы некому. Приходится поэтому идти все дальше и дальше.

Шейд и Кинбот — коллеги, преподаватели литературы. Шейд счастливо женат уже 40 лет, со своей женой он познакомился еще в школьные годы. Кинбот резко отличается по своим склонностям от своего старшего коллеги. Как бы это выразить поделикатнее? Попробую так... Он любил зеленый цвет (такое иносказание я вычитала много лет назад в одном учебном труде об Оскаре Уайльде). Нет, кажется темновато. Тогда так... Он разделял сексуальные убеждения Чайковского и Геккерена. Короче, он любил мужчин. (Фу, наконец-то я миновала это опасное место!) У поэта Шейда за год до написания его последней поэмы погибла единственная дочь Hazel, которую он оплакивает во второй и третьей частях поэмы. Имя дочери приводит вдумчивого читателя к следующим параллелям: газель — робкое и грациозное животное, предпочитающее жить на горах, а не в низинах. Ну, а уж если взяться за английский, то получается орех фундук. Как только перо Шейда отрывается от 999-й строки поэмы, к нему заходит Кинбот и запросто, по-соседски, приглашает поэта к себе на рюмочку ликера. По дороге к дому Кинбота Шейда застреливает некий террорист Gradus, в буквальном смысле теневой персонаж, посланник террористической организации революционеров (именующих себя «тенями») далекой северной страны Zembla, о которой мы узнаем из комментария Кинбота, что это скандинавская (вернее, псевдоскандинавская) страна, в которой произошла некоторое время тому назад революция, карикатурно напоминающая Великую Октябрьскую социалистическую. Кинбот делает попытку спасти горячо любимого поэта и даже подвергает свою жизнь опасности. Здесь на месте трагедии появляется Сибил Шейд, которой не оказалось дома в момент гибели мужа. Она соглашается на горячую просьбу Кинбота позволить ему быть издателем и комментатором последней поэмы Шейда. Кинбот уединяется где-то в горах, спасаясь от преследования официальных шейдоведов, чтобы откомментировать поэму на основании ему одному ведомых темных тайных намеков на историю короля Zembla, якобы содержащихся в поэме.

В процессе комментирования комментатор перманентно отвлекается в сторону от предмета своего изучения: он то принимается детализированно описывать вид карточек, на которых Шейд записывал строки своей поэмы, то полемицировать с оппонентами, не понимающими истинного значения поэзии Шейда, то сопоставлять моменты биографии поэта и короля Земблы Charles The Beloved, скрывающегося в Америке, причем после некоторого недоумения читатель приходит к выводу, что беглый король и комментатор — это одно и то же лицо. Под конец Кинбот все больше увлекается темой террориста Gradus. На последней странице книги следует образное описание карусели, потому что у комментатора голова пошла кругом от взваленной на себя непосильной задачи. Был такой фильм... Не могу вспомнить названия... Там двое героев борются не на жизнь, а на смерть на крутящейся карусели, и дети визжат от страха.

Я не совсем уверена, но кажется, эта сцена была в «Strangers on a train». Во всяком случае, эта фильмовая сцена смутно проявилась в моем воображении при первом чтении романа.

2. 1. Бабочки

Странным образом меня тянет начать разговор о бабочках, предмете необычайно волнующем Набокова, с парадокса об энтропии. Выписываю из Merriam-Webster's Collegiate Dictionary: «Entropy — the degree of disorder or uncertainty in a system; chaos, disorganization, randomness». Получается, что энтропия — некая отрицательная величина, свидетельствующая о степени разрушения системы. Однако при энтропии, равной нулю, система также не может функционировать, как и при энтропии больше единицы. В первом случае система застывает или превращается в камень (крылья бабочки постепенно тяжелеют, бабочка не может летать и постепенно превращается в фоссилию, которую когда-нибудь да откопает любопытный природовед), во втором случае система распадается под слишком сильным напором хаоса (бабочка не может совладать с непомерно разросшимися крыльями, теряет способность контролировать траекторию полета и в конце концов погибает, без сил упав на землю). Таким образом, нельзя не прийти к выводу о том, что оптимальным условием функционирования системы является уровень энтропии от нуля до единицы.

Бабочки были самой сильной и верной связью (чуть было не написала — привязью) Набокова с землей. В райской росписи их крылышек он видел действие тех земных и весьма приземленных законов, которые (вернее, мимо которых) под шумный и коллективный зовок проходят в школе. Не будучи любительницей отыскивать символы, я с простым эстетическим удовольствием читала о бабочках в «Даре». Но в «Пэйл фая» эти крылатые красавицы играют куда более важную роль, чем в других романах. Мне пришлось обратиться к специальной литературе. Найдя по каталогу Higgins L. S., Riley N. D. «Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe», я принялась разглядывать (готовясь к поездке в альпийские горы для личного знакомства) наряды нереид воздушного моря. Но жажда литературоведческих открытий по-прежнему безраздельно владела моей душой. И я отправилась за томами Brian Boyd в отделение англистики и американистики Базельского университета. Я уже знала, что его «Vladimir Nabokov. The Russian Years. The American Years» — это лучшее из всего, написанного о Набокове и его романах.

Вот я несусь домой, окрыленная не хуже любой бабочки ожидаемым, голубой томик с разбором «Пэйл фая» и два объемистых тома с жизнеописанием Набокова. Дома, вооружась словарем, из которого я уже выписала цитату (см. выше), я принялась за штудирование Бойда.

Теория его о происхождении призрака в заброшенном сарайчике, к лепету которого напряженно прислушивается Hazel Shade, произвела на меня чрезвычайное впечатление. Бойд пишет, что этот призрак был просто-напросто духом покойной полупарализованной тетушки поэта Шейда Maud. Тетушка, вооружившись потусторонним знанием, пытается всевозможными и довольно эксцентрическими средствами предостеречь живых родственников о грядущих опасностях. Мне кажется, что это вполне в духе Набокова, который счел бы весьма увеселительной идею явиться самому кому бы то ни было с того света и ошарашить неожиданной, но вряд ли опасной или злой проделкой.

Эти попытки тетушки Мод (или ее фокусничество) заинтересовали прежде всего не ее племянника, по долгу поэта, казалось бы, наиболее тесно общающегося с ми-

ром духов, а его дочь. Газель Шейд, относясь чрезвычайно ответственно к общению с полтергейстом, как это свойственно всем лишенным чувства юмора людям, постаралась записать и потом расшифровать лепет призрака. Ее записи остались бы навсегда утрачены для потомства, если бы кропотливый литературовед Кинбот не процитировал бы их в своем комментарии.

Напротив, другая идея Бойда о происхождении двух бабочек, увиденных Шейдом за несколько часов до смерти и описанных им в последних строках поэмы, показала мне не совсем убедительной. Дело в том, что две эти летуны, и вполне возможно вестницы, принадлежали к разным подвидам и вряд ли могли служить символом для одной женской души (дочери поэта) у романиста-лепидоптеролога. Одна бабочка с белыми крылышками была мною идентифицирована по книжке «Field Guide...» как specimen of *Lysaeides*, вторая — с красными — как specimen *Vanessa (atalanta)*. Однако при моем слабом зоологическом фундаменте (из всех уроков зоологии в школе я помню ярче всего посещение зоологического музея и разглядывание чудовищных позвонков динозавра) я никак не могла осмелиться провозгласить эту загадку окончательно разгаданной. Из бойдовского жизнеописания Набокова я вычитала, что писатель в течение многих лет поддерживал научный контакт с Лозаннским музеем зоологии. Этому музею он завещал свою (третью) коллекцию бабочек. Так как я добросовестно решила ознакомиться со всеми доступными материалами о Набокове, то лозаннского музея мне было все равно не миновать, и я обратилась с довольно, но невольно запутанным запросом к тамошнему директору господину Michel Sartori. Он ответил мне любезнейшим образом по электронной почте:

Dear Inna,

Many thanks for your message and your query.

My answer will be short and simple. In no way, specimens of *Lysaeides* and *Vanessa* can crossbreed! They are as distant to each other as human being and spider monkey! Try on a oneiric point of view. What represented each species for Nabokov... Maybe you will find an answer! Good luck for your work and don't hesitate to ask if you have questions on butterflies.

Yours,

Michel.

Что за милый человек этот Dr. Sartori! Какой любезный и обстоятельный ответ! Ну конечно же, я без промедления (ведь сказано, don't hesitate) села на поезд и приехала в Лозанну для личного знакомства, разумеется, с набоковской коллекцией. Ну, и с директором музея тоже.

2.2. Papilioni Nabocovi

Летний день не был омрачен никакими облаками, когда я, слегка запарившись в новой замшевой куртке, вышла на широкую музейную площадь из тесной боковой улочки. Площадь оказалась запруженной студентами, мирно держащими самодельные транспаранты, и добродушными блюстителями порядка, наблюдающими за студентами. Кто-то миролюбиво говорил по-французски в рупор. Французского я не знаю, поэтому, не задерживаясь, вошла в здание кантонального музея. Зоологический отдел расположен на (проглатываю «женское», Блоком ненавидимое словечко «самом») верхнем этаже, прямо под стеклянной крышей; в тот день освещение было необычайно выгодным и для пуговичноглазых львов, и для подвешенных на лесках (вряд ли пойманных таким образом) акул, и для бабочек, раскинувших нарядные крылья для того, чтобы все на них любовались.

Dr. Sartori оказался плотным, деловитым и симпатичным мужчиной в очках в золотой оправе и клетчатой ковбойке. Проявив исключительную любезность, он уделил мне целый час, повел в хранилище, где темно и холодно — так лучше для экспонатов, — где стоят закрытые шкафы с выдвижными полками (я слегка защемила большой палец левой руки), а на этих полках стоят застекленные ящички, а в этих ящичках хранятся бабочки, аккуратно припигуленные булавками ко дну. Возле каждой бабочки малюсенькая этикетка с миниатюрной записью о том, где и когда данный экземпляр был пойман. Трогательный пример набоковского почерка, нарочно умельченного до бисера.

В палитре красок *papilioni Nabocovi* преобладали два цвета (со всевозможными оттенками): голубой и коричневый.

«These are the butterflies from his last summer trip to Davos. There he has fallen in the mountains and gotten that fatal illness», — сказал Dr. Sartori, показывая мне ничем не отличающийся от прочих ящичек с небольшого размера бабочками (голубые — male, коричневые — female). «Так вот где таилась погибель твоя...» — не совсем к месту подумалось мне. Маленькие, безобидные, невинные и невзрачные, лежали они под стеклом с блестящими булавочками, проткнувшими навсегда их высохшие тельца. А тот, кто их поймал когда-то в сачок, лежал совсем недалеко от лозаннского музея, на кладбище в Clagens. На ум пришли строки Белого, цитировавшиеся злорадными языками при всяком упоминании его смерти от последствий солнечного удара: «Золотому блеску верил, // А умер от солнечных стрел...» Почему-то никому еще не пришло в голову объявить Набокова жертвой его страсти к бабочкам. (Вот тебе и открытие! Но, к сожалению, не вполне научное...) Так, увлекшись первооткрывательской страстью, я уже не столь внимательно выслушала обстоятельный специальный комментарий Dr. Sartori. «А все-таки милейший человек!» — подумалось мне в то время, когда он демонстрировал мне три стадии препарирования бабочек. Так я узнала, как надо размочить засохшую бабочку, расправить на деревяшке крылышки, закрыв их аккуратнейшим образом полосками бумаги, потом проткнуть брюшко, пригвоздив его на веки вечные к деревяшке. Когда крылышки под бумагой высохнут, бумагу снимают — экспонат готов! Я оказалась не первой гостьей русского происхождения, побывавшей в музее, чтобы ознакомиться с этой драгоценной для всех любителей российской словесности коллекцией бабочек.

3.1. Montreux

Углубленная в лепидоптерологические впечатления, я рассеянно спустилась с вокзальной лестницы в Montreux. Солнце стояло еще высоко, освещая горы слева и позади, здания отелей высоких и пониже, причал, душистые деревья из далеких стран, анютины глазки на клумбах, уток, чаек, воробьев и почти музейный пароходик-долгожитель, отходящий как раз от пристани. Прогуливались туристы, громко переговаривающиеся на многострунных наречиях. Я остановилась, чтобы бросить крошки чайкам на валуны под набережной, и услышала женский голос за спиной: «Так вот я вам о чем и толкую: когда вы разговариваете с ней, у вас создается приятное впечатление, что вы сидите на пороховой бочке». Русские! Приятное ощущение неодиоличества мягко коснулось моей души, вышибая невольную слезу из уголка правого глаза (он у меня видит хуже, чем левый). Я оглянулась, но две русские дамы уже прошли мимо.

Леман! Какой русский его не любит? Иностранцам здесь тоже нравится. Так, Байрон восхитился и написал: «The Lake of Beauty». Лед с альпийских гор почти что весь стек весной в озеро, пополняя его тихие воды. Прекрасная панорама открывается взо-

ру любого восхищенного и любопытного путешественника, даже не вооруженного биноклем. По левую руку от Montreux виднелась крепость с круглой суровой башней. Шильонский замок. Байрон, Бонивар, Charles the Beloved.

Действительно, почему бы не мог Набоков воспользоваться столь соблазнительно близким замком с башенкой для описания места заточения царственного узника теньями революционеров. Солнце стало уже спускаться за Альпами, окрашивая всю картину в красноватые тона. Я не могла отвести глаз. Набоков был не только аристократом в литературе, но и эстетом в жизни. Более идиллического места на Земле трудно даже вообразить. Тихо, нет бурь и ураганов: Альпы плотной стеной защищают надежно от любого натиска извне; озеро, всегда живое и ласковое для обитателей: рыб и птиц, и для гостей: пловцов и пароходов; отели и chalet, ресторанички и открытые эстрады. Слышны только музыка да веселые голоса. Отсюда рукой подать до альпийских лугов, где не только пасутся знаменитые швейцарские коровы, о которых я непременно хочу сказать ниже, но где порхают все те же бессмертные легкокрылые бабочки-психеи, сиюминутные и вечные, забываемые и восхитительные. Да, Montreux было создано для Набокова, выполнено словно по заказу в величайшей декорационной мастерской для заключительного действия его жизни. Под ногами валуны, над головой синева. Ограниченный простор совершенства. A limited space of perfection.

3.2. One step aside

На другой день в приливе благодарности послала электронную записку доктору Сартори, еще раз приветствуя его щедрость и отзывчивость. В университетской библиотеке стояли у стеклянной стены шесть компьютеров для безвозмездного получасового пользования Интернетом. Перечитав несколько раз загадочное послание некоего Мики о том, что апельсины полезнее маринованных огурцов, стерла его и пошла в читальный зал полистать журналы. Канадский, польский, немецкий, швейцарский литературоведческие альманахи по славистике. (Славное племя слабохарактерных, но свободолюбивых славян, лишь случайно связанных друг с другом узами крови, языков и границ.) Кое-что новое о Льве Толстом, пушкинистская конференция в Каннах, эмигрантский ежемесечник с остроумной статьей о загадочной кончине Моцарта (от отравления ртутью, по-латыни *mercurium*, Меркур был вестником разгневанных на композитора богов, разгласившего их тайны). А вот и совсем незнакомый мне том, вполне увесистый, венгерскими славистами изданный по следам конференции 2002 года. Любопытно, что это там пишут на семистах страницах о славянах и их письменности. Открыла наугад статью на русском, да еще о морфемах, вызывавших головную боль еще в студенческие годы. Листаю дальше. Вот опять статья по-русски. Автор с запоминающимся именем: Востроухова Теплица Кульмановна. (Мы точно не встречались.) Что-то про Набокова, правда, всего две-три скользковатые фразы о том, что, мол, замечательный стилист. Далее так же походя упомянуты Пушкин, Толстой, Ходасевич, Маршак, Пастернак и Шолохов — крошка из писателей всех мастей и вкусов. Переворачиваю страницу и нападаю на редкость (я падка на редкости). Стихотворение Н. К. Рериха под названием «НЕ УБИТЬ». Как Демьян с ухой, не могу утерпеть, чтобы не привести здесь его целиком, приправив собственным комментарием.

«Мальчик жука умертвил». Скверно, ай-ай-ай, мальчик! Предлагаю судить этого мальчика соответственно с его возрастом: если ему нет семи лет, то простить; если ему от семи до четырнадцати, то дать ему подзатыльник; если старше четырнадцати, заставить его сделать генеральную уборку в доме (высшая мера наказания за данное преступление!).

«Узнать его он хотел» — несколько загадочная, с трудом поддающаяся комментированию фраза.

«Мальчик птичку убил, / Чтобы ее рассмотреть». Нет, этот поступок мне уже решительно не нравится. Птичку убивать нельзя, а уж тем более с такой псевдонаучной целью. («Да был ли мальчик?»)

«Мальчик зверя убил, / Только для знания». Последняя строка безграмотна, но содержание волнует. Остается только уточнить, что за зверя убил этот мало и все менее симпатичный мне мальчик. Медведя? Слона? Леопарда? Всех жалко!

«Мальчик спросил: может ли / Он для добра и для знания / Убить человека?» Вот это да! Это уже не мальчик перед нами, а монстр. Так вот, значит, зачем он убил жука, вот в кого он целил — в человека! Такого мальчика нужно изолировать от общества сразу в раннем возрасте, то есть прямо с первой же строки стихотворения: «Мальчик жука умертвил». Все, на этом стихотворение кончается, точка! Читатель может быть уверен, что от последующей встречи с этим мальчиком он надежно защищен постигшей этого маленького монстра карой. Мы вытираем слегка вспотевший от возмущения и легкого ужаса лоб и облегченно вздыхаем. Серия убийств на сей раз была пресечена прямо вначале. Но не тут-то было! Еще три строчки: «Если ты умертвил / Жука, птицу и зверя, / Почему тебе и людей не убить?» Мурашки забегали у меня по коже, говорю об этом не шутя. Действительно, почему бы нет? ГУЛАГ и Освенцим представились моему испуганному воображению. Зловещий мальчик стал разрастаться и обзавелся уже усами, когда я сказала: стоп! При чем тут жук? Знание о жуке? Абстрактный зверь? Хорош тот мальчик, который может убить зверя! Геракл в детские годы?

Дальше по тексту ничем не смутившийся автор статьи вновь упоминает Набокова, который «открыл новые пути русской литературе и стал, как нам известно, знаменосцем ее постмодернизма». Спорный приговор, сформулированный как булавочный укол.

Набоков... Еще вчера я с трепетом разглядывала его коллекцию бабочек в Лозаннском зоологическом музее... Зловещая параллель с невинно умертвленным жуком напрашивается сама собой. Мне пришло на ум, что и всеми нами любимый классик Лев Толстой, упомянутый в той же статье двумя страницами ранее, ходил на медведя в свою довегетарианскую эпоху. Так что же получается? Набоков с Толстым оказываются в одной компании с этим страшноватым и противноватым мальчиком! Осталось вспомнить, что и Тургенев, упущенный из виду госпожой Востроуховой, подстрелил как-то куропатку, о чем в довольно хвастливых тонах писал другу Полонскому, который наверняка тоже был не прочь поохотиться, да только вот жил в Петербурге. И вот моему читательскому взору представилась кровавая толпа литераторов, вооруженных кто сачком, кто ружьем, кто пером под предводительством жуткого мальчика, со зверской радостью в блистающих очах приближающаяся ко мне. Я поскорее захлопнула книгу и поставила ее на полку. Брр... Ну и альманахи издаются нынче!

Я пришла домой, и первое, что попало мне на глаза, была сделанная на днях выписка из письма Набокова Эдмонду Вильсону (13.09.1941):

Разнообразное сложенье
Чешуекрылых мотыльков
Уготовляет услажденье
Для королей и бедняков.

И все сразу встало на свое место.

3.3. «Бедное пламя»

Однако «вернемся к нашим баранам» или «Андрей, отворяй ворота, волк идет» — бледные воспоминания университетских занятий по переводу.

Содержание романа тем и очаровательно, что никакой фабулы Набоков не навязывает читателю. Есть пожилой гениальный поэт, любящий единственной любовью свою жену, и есть безумец, но талантливый безумец, Кинбот, отождествляющий себя — истинно или ложно — с бежавшим после революции из своей страны королем. Все действие романа есть духовная дуэль между поэтом и его комментатором. Причем поэтическая мысль Шейда движется по весьма прихотливой и запутанной траектории, тогда как комментарий Кинбота движется как бы по спирали, как мотылек все кружит и кружит вокруг светоча, пока от постоянного кружения не теряет ориентацию и не падает в огонь. Кинбот в конце предисловия пишет: «with that carrousel inside and out side my head» — и тем самым проваливается в комментируемую поэму, хотя вначале он был уверен в своем могуществе: «it is the commentator who hast he last word». (Любопытная параллель с последним словом подсудимого на суде перед вынесением приговора.)

Не будучи уверена в своем знании английского (точнее, американского) языка, я взяла в библиотеке русский перевод романа и озадаченно прочитала на титульной странице: «Роман В. Набокова „Pale Fear“ в переводе N. N. (...)», фамилию я опускаю в надежде, что уважаемый переводчик крепко подумает перед тем, как взяться в следующий раз за перевод. Короче, после детального ознакомления с переводом, то есть когда подлинник и большой словарь лежат рядышком с переводом, мне только и остается, что наградить переводчика следующим посвящением:

Сначала я — угод,
Влетевший N. N. в открытый рот...
Он пожевал и выплюнул меня —
И стал я тетерев, токующий у пня.
Не свет луны: нам мавр держал свечу —
Уж я фазан и улететь хочу,
Но тут вцепившись в разноцветный хвост,
Мой горе-переводчик строит мост...
Не мост, а радугу! Что делать мне в ночи? —
Сияю без толку — эй, автор, научи!

Не удержусь, чтобы не привести хотя бы один увеселительный пример из перевода. Набоковский текст (поэма, 1-я песнь, стих 26) гласит: «Find in your China...», когда Шейд удивляется тому, что птицы все время собираются за его домом, как будто ищут там что-то. Невозмутимый переводчик пишет: «Фарфор найдя...», оставив читателя в потемках неведения, потому что и сам не догадался зажечь свет. Мало того, что China означает фарфор, который птиц никак не может заинтересовать, но China еще означает деньги. Таким образом, разгадка набоковского образа: «Что, им там медом намазано?» — что их, птиц, так тянет к моему дому.

Осталось только узнать, может ли мед привлечь птиц.

3.4. Загадки

Как бы здорово я ни научилась листать словарь, однако некоторые нюансы по-прежнему остались для меня нерасшифрованными. Шейд всю жизнь пытался приот-

крыть завесу перед потусторонним миром. Когда его дочь погибает, провалившись под лед, желание Шейда найти контакт с ней и вообще с миром иным приобретает оттенок мании. Он даже обращается к заведомым шарлатанам, организовавшим целый институт по подготовке к потустороннему существованию (см. 3-ю песнь поэмы). Отвратившись от них, он хватается за статью Mrs. Z., которая опубликовала свои впечатления, вынесенные из состояния клинической смерти. Эта дама видела «курящийся» фонтан (fountain), что совпадало, к радости Шейда, с его собственным видением во время клинической смерти. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что все многозначительное совпадение их опыта было основано на опечатке, так как дама видела курящуюся гору (mountain), всего лишь одна буква, а какова разница (f вместо m)! Но странно во всем этом то, что Шейду изменила его поэтическая интуиция: гора может куриться (вулкан), фонтан — никогда. Так разгоряченное воображение окутывает иной раз всевидящее око разума, скрывая горизонт подобием дымовой завесы. Кинбот оставил этот любопытный момент вовсе без внимания, как и Шейд никак не заинтересовался попытками дочери расшифровать язык полтергейста. Ее записи пошли в ход только в комментарии Кинбота. Так отец — поэт — прошел мимо небезынтересных опытов дочери, зато предался довольно-таки безвкусным описаниям своего родительского страдания при виде внешней непривлекательности дочери. Шейд даже признается в том, что он «рыдал» в школьной уборной, когда его дочери доверили играть роль ведьмы в детском спектакле. Право, странно читать это. Ведьма, а уж особенно в глазах поэта, существо неизмеримо привлекательнейшее, чем какая-нибудь благополучная княжеская дочь.

Невольно возникает вопрос, был ли Шейд тем поэтом-мудрецом, образ которого нам так красноречиво живописуется комментатором на каждой странице книги. Копнем-ка здесь поглубже.

3.5. Сивилла

Так и чешутся руки, нет, не могу удержаться, как та танцовщица из второго ряда кордебалета, что никак не могла перестать кланяться публике после окончания ее номера, и ее пришлось уносить со сцены на руках. Так вот и я. Так и я. Нашла сегодня в Интернете на страничке «Словопляс» шутку, которую здесь и помещу: «Х. читает что-то в интернете, вдруг начинает хохотать, да так, что не может остановиться, и убегает опрометью. Его сосед по компьютерному классу взглядывает на монитор Х., тоже давится от смеха и убегает. Вскоре один за другим все посетители компьютерного класса таким же образом покинули помещение. Работники сервера смогли в тот день раньше времени вернуться домой, чтобы заняться неотложными домашними делами».

Но ближе к теме. Жену Шейда звали Sybil, в девичестве Ironell. Сивилла — нарицательное имя всех предсказательниц будущего. Многообещающее имя! Был ли у Сибил Шейд дар предвидения?

Она, в отличие от дочери, нисколько не заинтересовалась возможностью пообщаться с духом из сарайчика. После некоторого бесплодного ожидания появления духа Сибил первая выказывает признаки нетерпения и не находит ничего лучше, как предложить всем втроем вернуться домой, чтобы отведать трубочек с кремом. Это вызывает взрыв негодования у дочери, сцена в сарае обрывается. Слова матери, возможно, приблизили решение дочери покончить с жизнью.

По отношению к Кинботу Сибил также не проявляет большой проницательности. При первой встрече с высоким соседом привлекательной наружности Сибил весьма приветливо заговаривает с ним и даже приглашает зайти в дом, чтобы выпить че-

го-нибудь покрепче. А так как Джону пить нельзя (потихоньку от жены он, конечно, с удовольствием потягивает ликер), то Сибил, очевидно, собирается выпить с молодым человеком вдвоем, что располагает к некоторой интимности. Кинбот же, заинтересованный в муже, но никак не в жене, отклоняет ее приглашение. Явная склонность соседа к гомосексуализму и его тяга к ее мужу (пусть и платоническая) превращают Сибил в яркую противницу Кинбота. По воспоминаниям Кинбота, она старается всеми средствами предотвратить встречи Джона с ним. Кинбот дает ей кличку «domestic anti-Karlist», приравнивая ревнивую жену к революционерам в Zembla. Он подозревает ее в самом страшном, с его точки зрения, преступлении, в том, что она настойчиво противодействует любому упоминанию о короле и его стране Zembla в поэме. А именно в рассказах о своем (действительном или воображаемом) прошлом и заключался весь смысл бесед Кинбота с поэтом. Кинбот пытался задать поэту тему для творчества, дать ему предмет для поэтического воспевания. Сибил, как кажется Кинботу, разрушает его планы, влияя на мужа и стараясь направить его воображение в другую сторону.

Мало того, Сибил начала не шутя ревновать мужа к Кинботу, иначе никак нельзя объяснить восклицание Шейда: «Let him in, Sybil, he won't rape me!», когда сосед, как всегда некстати, ворвался к дом Шейдов, чтобы повидать поэта, по примеру Архимеда принимавшего ванну. Красавица, сравнимая, по мнению мужа, с Ванессой: темный, жгучий колорит музыки, но не ясновидящей; ведь ясновидящая не уехала бы на обед в клуб, в то время как убийца уже бродил по университетскому городку. Сивилла не оправдывает своего имени. Но 40 лет счастливой любви Шейда к жене говорят в ее пользу. Она хозяйничала во всем, что касалось материальной стороны жизни, она регулировала социальные контакты всей семьи, тем самым давая простор для чистого творчества мужа. Одна лишь дочь омрачила незыблемость счастья этой пары. Сначала внешностью (вся в некрасивого отца), потом и странностями характера (затянувшееся девичество и увлечение полтергейстом). У умного отца и красавицы матери дочка-дурочка. Вполне сказочная ситуация: Газель Шейд в роле Царевны-лягушки, живущей на болоте. Погибает же она, как Офелия, утонув в озере, — опять связь с водным царством. Кинбот же, в роле почти что сказочного короля или принца, тоже отличающийся явными странностями (как, например, склонность к слововерчению, увлечение самого Набокова, щедро награждавшего свои персонажи собственными талантами), претендует на пост Гамлета или Ивана-царевича, чуть было не упустившего свою подругу (а у Набокова — даже не встретившего ее).

3.6. Орехи

Осталось дать и Кинботу на орехи. Орех фундук, быть может, оказался бы ему по зубам. Лишь одно обстоятельство несколько смущало пинкертоновскую часть моей души. А именно: Youd упоминает, пожалуй, самое героическое и отчаянное предприятие Набокова во славу русской литературы — его перевод и комментарий «Евгения Онегина». Набоковская шутка «You — gin? One gin!» могла бы войти во все юмористические альманахи. Набоковское восхищение подлинником вводило его все далее от заданного размера издания (карманный Пушкин для всех американских любителей российской словесности). Пушкина трудно спрессовать до такого размера. И вот я несусь из библиотеки еще четыре увесистых тома.

4.1. «Тайная свобода» или «ворованный воздух»

К Пушкину я отношусь с трепетом еще с молодых ногтей, по крайней мере с того лета, когда я, набрав в легкие побольше воздуха, который и ныне там, взялась выучить

наизусть всего «Онегина» и сдалась на середине третьей песни. Поэтому я даже к набоковским трудам отнеслась заранее с предубеждением, ведь сказано: «Умри, Денис..!» К счастью, мои опасения не подтвердились, и резвая рука мудрого комментатора, к моменту начинания бывшего чуть ли не вдвое старше Пушкина в день дуэли, хотя и набрала сатирический разгон, ничем не поколебала тот треножник, на котором сам Пушкин предпочитал стоять («Ich bestehe darauf!» — есть такое популярное немецкое выражение, обозначающее (моя книга не для детей) крайнюю степень мужского нетерпения).

Некоторые строки комментария прямо-таки восхитили меня своей филологической игривостью: например, пассаж из комментария к третьей строфе третьей главы. Ананасы редко вырастали на не слишком плодородной почве российской провинции, тем большее внимание им уделяли российские пииты, питающие склонность к воспеванию раритетов. Пушкин тоже не обошел их вниманием. Набоков пошел в этом по его стопам и написал следующее: «Сложнее было вырастить персики, а уж тепличным ананасам оставалось только изумляться тому, что им было уготовано». Изумленный ананас вылетел нечаянно из руки голубоглазого московского поэта приблизительно через 70 лет после «Онегина» и за 50 лет до набоковского комментария, да так и летает до сих пор. А московский поэт, робко протягивая перебеленную рукопись первой своей книги стихов суровой красавице повторял в приливе чувства: «I am dying to write something that could amuse you!» Но дама равнодушно съела ананас и пошла танцевать. Эта картина вдохновила в свою очередь Репина на создание известного полотна «Дама с ананасом» (похищена из бельгийского музея скромными любителями искусства, предпочитавшими остаться неизвестными).

Но покинем Флору, вернемся к Филологии. Цитирую по цитатам из набоковского комментария. Из Гейне: «Shade, dass ich ihn nicht küssen kann, // Denn ich bin selbst dieser brave Mann.» В моем переводе строки Гейне звучат так: «Жаль, старый Шейд, я не могу тебя поцеловать, // Зато за храбрость можешь ты меня обнять». А уж это прямо отсылает нас к тексту «Пэйл фая». Шейд, во всяком случае, назван здесь по имени. Впрочем, за точность моего перевода я не ручаюсь: словарь мой куда-то запропастился. Или вот еще лакомый кусочек из Байрона: «unemployed feelings». Где-то гуляет мой работодатель?

Но вот фраза, которая выдает с головой связь набоковского комментария с книгой «Пэйл фая». Набоков пишет по поводу повестей Белкина, услышанных им от некоей девицы К. Н. Т.: «Через этот двойной маскарад слышен измененный, но вполне узнаваемый голос Пушкина».

Так же слышен и голос Набокова из-за голосов его персонажей. Родство, пусть и отдаленное, но вполне узнаваемое, как, бывает, проглядывает в лице отдаленного потомка вдруг прадед, знакомый только по портрету в гостиной, между «Пэйл фая» и комментарием к «Евгению Онегину» хотелось бы мне доказать недоверчивому читателю на следующем примере. В комментарии к главе восьмой, строфе второй «Е. О.» Набоков приводит эпиграмму Карамзина: «Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним. Читаем по складам, смеемся, плачем... Спим». Ср. в поэме Шейда: «Life is a message scribbled in the dark. Anonymous» («Palefire», 235–236).

Как доказать недоказуемое, во что можно только поверить, конечно, при условии, что поверить очень хочется? Абсурд, где серьез уступает место шутке, от которой щемит сердце и скулы сводит от смеха. Набоков откопал в воспоминаниях Е. Розена пассаж о том, как Пушкин, когда ему хотелось повеселиться, «принимался слагать в уме странные стихи — умышленную, но гениальную бессмыслицу». Задор литературоведа заговорил во мне в полный голос, и мне подумалось, почему бы не написать ста-

тью «Пушкин — прашур Хлебникова и обэриутов». Но и у Набокова встречается экзотический гость в его стихах — Минотавр, который занят тем, что щиплет струны на арфе Эола.

Со смелостью и решительностью, присущей, вероятно, всем львицам, берусь утверждать, что Набоков в его отношении к Пушкину и «Е. О.» ничем не напоминает Кинбота в его отношении к Шейду и его поэме. Однако структурная сторона трудоемкого и монструозного по размеру комментария к «Е. О.» несомненно вдохновила, а может быть, и внушила Набокову самую идею написать роман, состоящий из: а) произведения одного автора и б) комментария этого произведения другим автором. Титанический труд Набокова по изданию американского Пушкина затянулся на десять лет с лишком (своего рода «Одиссея», разыгранная в Ithaca в конце 40-х до конца 50-х годов), а в свет вышел он только в 1964 году, когда Набоков жил уже в Монтре. Роман «Pale fire» был задуман году в 1958-м и сравнительно быстро написан в «мертвящей», по мнению Питера Устинова, но несомненно спокойной предальпийской местности в 1959—1961 годах и благополучно издан в 1962-м. Титан уступил в состязании на скорость более хрупкому и проворному герою-полубогу.

4.2. Трели соловья

Птицы питаются насекомыми, как литературоведы романами. Итак, я продолжала мои изыскания, стараясь вжиться в роман как можно глубже. Наконец меня осенила идея, что если «Пэйл фая» принадлежит к типу так называемого романа с ключом, где все персонажи имеют свои реальные прототипы, и Набоков, живя в университетском городке, воспользовался натурой. Чтобы проверить этот тезис, правдоподобие которого правомерно подвергнуть сомнению, но который нельзя заранее отбросить на основании преднамеренного отрицания самой возможности этого, я вооружилась адресным листом Корнельского университета и принялась за составление официальных писем на самом невероятном американском, который и сам тойфель не разберет.

Противу всякого ожидания, на одно письмо пришел ответ, выпавший из почтового ящика одним летним вечером, когда я наудачу решила ответить на вопрос «Что нам пишут?». Это было письмо от русского преподавателя в отставке господина Алябьева.

Зная Набокова только поверхностно, тем не менее он пишет мне в надежде быть полезным и желая поддержать молодую коллегу. Надо ли говорить, что я с радостью ухватилась за возможность переписки с господином Алябьевым. Тотчас же я села за письмо, состоящее из слов благодарности за отклик и из вереницы вопросов, несколько напоминающих анкету: «Не кажется ли Вам...?» и «Правда ли, что...?». Между прочим замечу, что так как письмо профессору А. писалось на русском языке, количество ошибок было сведено к минимуму. (Набоковский набросок: «between my American maximum and my Russian minimum».)

Привожу ответное письмо полностью с приложенным к нему по непонятной мне причине отрывком «Идеалисты».

Глубокоуважаемая И. В.,

Ваше милое письмо тащилося ко мне больше месяца. Рад удовлетворить ваше любопытство, хотя и не скрою, что присоединяюсь к мнению, что книга Бойда — лучшее из всего написанного о Набокове. Но — держайте!

Мои столкновения с маститым писателем я с удовольствием предаю гласности, нисколько не заблуждаясь насчет их маргинального свойства. Так, один раз я столкнулся с ним в дверях курительной комнаты и другой раз я разминулс с четой Набоковых в университетском коридоре. Этим мои личные встречи ограничиваются.

Одно высказывание из лекции о Пушкине, которое не было процитировано до сих пор: «Как только нам удалось путем чрезвычайных усилий сбросить Пушкина с парохода современности, наш пароход начал тонуть.»

В свое время, когда интересующий вас роман только что вышел в свет, я задался вопросом, почему, собственно, Набоков опубликовал «Пэйл фая» под своим именем, а не подарил его, к примеру, Кинботу. Было ли то желание славы, не берусь судить, но роман сильно от этого проигрывает. Но это только мое личное мнение.

Желаю вам творческих успехов.

Ваш А.

А на отдельном листе, довольно-таки помятом и пожелтелом, стояло: «Идеалисты. Сначала вечеринки. Студенты в тужурках, крепкий чай, споры до глубокой ночи с блеском в глазах. Потом: отъезд в Швейцарию: учиться на медика или медичку. Заражение там революционными идеями. Но все еще очень невинно, по-вегетариански, т. е. „непролитие крови“ остается превалирующим условием. Прогулки по самым идиллическим альпийским местностям в студенческих компаниях, влюбленности на идейной почве. Окончание курса и с „ура“ отъезд на родину с набитым нелегалщиной чемоданом. Работа в российской провинции врачом. Пьянство и хамство. Несчастье крестьянок, драки по праздникам, лопухи и семечки. Крайний атеизм. Собственная опущенность, постепенно переходящая в озлобление. Возникающие все чаще мысли о необходимости «насильственного улучшения» жизни. Наконец, пост медика бросается. Переезд в столицу, вступление в какую-нибудь группу. Участие в терракте. Чей-нибудь донос. Ссылка в Сибирь. Бегство из Сибири в ту же Швейцарию. Так круг замыкается».

При чтении этого письма и отрывка в голове моей неотвязно звучал мотив «Сооловей мой! Сооловей! Гоолоосистый сооловей!». Музыкальное сопровождение, так сказать.

Ничего о предполагаемых прототипах в набоковском романе мне не удалось узнать.

4.3. *Delirium poeticum*

Мне начинает казаться, что мое отдаленное подобие диссертации кишит отступлениями, которые с трудом извинительны. Так вот и теперь... Стоило мне подойти к письменному столу, как головная боль одолела меня.

И вот я сижу перед компьютером и тру левую сторону головы (там сосредоточилась боль). Единственным утешением служит то обстоятельство, что Набоков страдал головными болями несколько десятилетий. А Пушкин страдал бессонницей... Впрочем, кажется, Набоков тоже не умел засыпать. Где-то я недавно прочитала — дай бог памяти! — если бы не головная боль, я бы сразу вспомнила, что, где и когда я вычитала. Память у меня с детства, что называется, лошадиная. Ой, как голова трещит! Так вот, у писателей профессиональными болезнями считаются головная боль и бессонница. Одно не обходится без другого: ночью вы не спали, днем болит голова. И наоборот, если днем болит голова, то ночью невозможно уснуть. Это и называется «круговорот в писательской голове», или, по-научному, *delirium poeticum*. У поэтов эта болезнь протекает в особенно тяжелой форме, иногда сопровождается бредом, который почему-то называют поэтическим. А один поэт даже сказал о себе и своей болезни так:

I am not crazy, I am mad —
And I am so very glad.

Прозаики, как правило, люди более здоровые, чем поэты. Лучше всегда оставаться на прозаической почве. Пушкин тоже пришел к этому убеждению, правда, с годами: «Года к суровой прозе клонят...» Набоков понял эту столь очевидную истину раньше Пушкина и уже в молодые годы стал все больше писать прозой, закрыв глаза на свой собственный поэтический дар. (Что я пишу!) В швейцарский период, считай, он написал только два стихотворения: «Средь этих лиственниц и сосен...» и «What is the evil deed I have committed?».

Первое стихотворение посвящено красотам швейцарских гор в окрестностях Санкт-Морица, второе описывает угрызения совести поэта по поводу зла, причиненного им его персонажам. Надо сказать, что не каждый поэт достиг такого высокого морального уровня, чтобы сожалеть о своих героях. Но от этого головная боль не проходит. Shade! Тень головной боли не дает ясно увидеть предмет моей книги. Что это, если не пример «автоматического письма»?

Главное, это перечитать все написанное и вымарать все лишнее. Ибо нет ничего хуже искусственных длиннот. Набоков задал идеальный размер современного романа: са. 250 страниц. Все последующие страницы он просто выбрасывал. Отец Блока страдал настоящей манией перфекционизма и всю жизнь писал и переписывал одну-единственную книгу по юриспруденции. От нечего делать я как-то перелистала ее, хотя я терпеть не могу право. Это было абсолютное безумие совершенства. Ни одного слова нельзя было ни переставить, ни заменить другим. В книге было примерно 100 страниц. Да, у Блока была дурная наследственность. Но спешу успокоить уже и так утомленного читателя: в моей книге будет от силы страниц 50. Может быть, это идеальный размер книги начала XXI века? А может быть, мой ограниченный талант просто не дает мне перейти сей Рубикон прозаического произведения. Все, не достигающее 50 страниц, каталогизируется под названием «Малая проза», все после — «Большая литература». Обойдя первое, не попасть во второе (я слабо понимаю, что я пишу). Кстати (вот привязалось это словцо!), Байрон тоже как-то обмолвился, что он, дескать, «always dizzy». Кажется, только Шекспир и Гёте и были вполне здоровыми людьми среди писателей. Лев Толстой будет третьим. А может быть, они умело скрывали свои недуги под личиной непринужденного веселья и олимпийского спокойствия.

Так тому и быть! Все писатели, за малым исключением, люди нездоровые. Многие были просто больными: Гаршин с красным цветком в руках, Свифт с его лилипутами и великанами, Батюшков с часами, Хармс с его явно нездоровым лозунгом «Мы не пироги!» (А голова-то все болит!) Тургенев уж на что был порядочным человеком, а и на него накатывало иногда, и он как-то, помнится, на званом обеде стал выкрикивать: «Баба, каша, лошадь, ваша, кляча!» Англичане, самые невозмутимые на свете люди, и те удивились.

А уж если писатель не был болен психически или нервно, то непременно подхватывал чахотку, по примеру Чехова, Гиппиус и Ахматовой. Многие становились наркоманами, в России самый распространенный вид наркомании — алкоголизм. Аполлон Григорьев и Блок спились, а Поплавский проглотил что-то не то и умер в Париже. А Булгаков был морфинистом одно время и даже не постеснялся написать об этом повесть. А Маяковский устал от насморка и застрелился, а Есенину надоело пить водку, и он повесился, а Галича убило током. А известный прозаик-заика Феррапонтий Спиридонов высказался однажды так: «Я предпочитаю умереть от смеха, чем от скуки, если уж вообще необходимо умирать». После чего он взял Козьму Пруткову, Ильфа и Петрова, Джерома, Свифта, Чехонте, заперся у себя в комнате и через несколько дней таки там и погиб, лопнув от смеха. Некоторые предпочитают ходить в кино с той же целью. Пушкин, наш гармонический гений, солнце русской поэзии, и тот однажды обмолвился в дружеском кругу: «I'd prefer rather to die than to stop playing». Так высказа-

лась вполне его природа игрока. Азарт — что это, как не особый род наркомании? И не был ли Германн гораздо более автобиографической фигурой, чем это принято считать? «Коварная двойка» не раз подводила поэта, который тем не менее оставался ей верен до последних дней своей жизни. «Кто мечет банк, всегда имеет шанс отыгаться», — говаривал поэт, усаживаясь в сани после очередного проигрыша. Верный Никита всегда соглашался с баринном.

Как-то раз, возвращаясь домой из школы, я услышала разговор двух старушек, греющих свои косточки на солнце. Одна говорила, слегка шамкая: «До чего стали писатели бессовестными! Раньше называли друг друга все-таки прилично и уважительно: Белинский и Чернышевский, а теперь что? Белый и Черный! Совсем стыд потеряли!» Другая ей поддакивала. Может быть, мне вспомнилось что-то не то. В голову, сами знаете, всякое лезет иной раз.

Занятие литературой опасно для здоровья. Даже самое чтение иной раз бывает заразительным.

5.1. Поездка в Мюнхен

После долгой и успешной борьбы с собой я решила не беспокоить сына Набокова письмом с просьбой сообщить какие-либо неизвестные детали о жизни его отца в Швейцарии. Зато узнав о том, что Набоков давал интервью различным радио- и телекомпаниям, я положила непременно посмотреть хотя бы одно интервью. Доступным оказалось знакомство с Баварским архивом телевидения. После продолжительных письменных и телефонных переговоров я села на поезд Цюрих—Мюнхен и сняла потихоньку новые туфли (уж очень жали!).

Какой русский (русская) не любит быстрой езды?! Этим вопросом задался Гоголь примерно 200 лет тому назад. Я не являюсь исключением и люблю ездить на скорых поездах. Я была рада выехать из Базеля так же, как была рада в него приехать. Новое место всегда интересно. Вот теперь Мюнхен... Я люблю смотреть из окна вагона на пролетающие мимо поля, дома, города. Пять с половиной часов пролетели незаметно. Я придумала пару вопросов, которые мне бы хотелось задать фрау Кайзерлинк в связи с набоковским интервью. Я записала их на отдельном листке бумаги, сложила его аккуратно и запрятала поглубже в карман юбки. После Линдау мне захотелось попить кофе, чтобы чувствовать себя вполне бодро в Мюнхене. Я отправилась в вагон-ресторан. В дверях я столкнулась с каким-то симпатичным мужчиной, лицо его показалось мне знакомым. Я оглянулась на него, он блеснул улыбкой и извинился, кажется, по-французски. Очень милый молодой человек. Кофе меня оживил, но тем не менее я заблудилась на мюнхенском вокзале, пытаюсь отыскать нужный выход. Когда я добралась до Rundfunkplatz, было уже 12:30. Я спросила на проходной, как мне найти фрау Кайзерлинк, и, к моему вящему ужасу, узнала, что она и архив находятся в районе Фрайманн в другом конце города. Кроме того, рабочий день в пятницу кончается в 16:00, а это была как раз пятница. Короче, мне пришлось возвращаться к вокзалу, чтобы взять такси. Туфли жали. Таксист отказался везти меня за швейцарские франки, и я, слегка уже нервничая, побежала искать обменный пункт. Короче, когда я села в такси, было уже 13:30. Таксист оказался весьма разговорчивым мужчиной. Он пытался править машиной, не прикасаясь к рулю, что повергло меня в состояние легкой паники. Мало этого, достав откуда-то журналчик «Weekend news», он принялся вычитывать новости из семейной хроники знаменитых миллионеров Вундерильдеров. И хотя я очень люблю миллионеров (есть у меня такая слабость), я слушала не очень внимательно, переживая больше за преодоление пробок в дорожном движении, чем за судьбу чьего-

то внучатого племянника. Мое невнимание, очевидно, рассердило шофера, и он высадил меня, не довезя до места назначения, впрочем, всего каких-нибудь два-три километра. Дважды промахнувшись, я свернула-таки на нужную улицу и на окровавленных ногах (туфли!) дошла до архива Баварского телевидения. На часах было 14:45.

5.2. Набоков на экране

Репортаж начинается с того, как Набоков с сосредоточенным видом с сачком в правой руке отправляется на ловлю бабочек в саду отеля «Montreux Palace». Две улетели, но вот одна в сачке. Набоков бережно достает пленницу, сдавливая ее умелыми пальцами и расправляет ее, уже неживую, на ладони. (По-моему, то была *Inachisio*, но, может статья, *Aglaisurticae*.) Ловкие пальцы фокусника или волшебника. Набоков в пуловере, в шортах до колен и в гольфах. Лицо — самоуглубленного, гордого человека; спина — прямая. Голос звучит несколько монотонно, может быть, потому, что Набоков зачитывает свои ответы с листа. Текст его ответов так же безупречен, как и текст его романов. В именах бабочек, этих «летающих цветов», как их назвал однажды Саади, Набокову слышались, вероятно, отголоски гимназических лет: данаиды, сатириды, нимфалиды, пиериды, геспериды. Вот они — порхающие, в следующее мгновение — в сачке, потом — навечно сохранив свою небесную красоту — навечно проколоты булавкой под стеклом.

Съемка продолжается в гостинице. Набоков рассказывает о своем детстве, показывает планы поместий Рождествено и Батово, показывает фотографии бабушек, родителей, самого себя мальчиком. Он читает отрывок из «Speak, Memory». Разговор переходит на годы учебы в Кембридже. Виды Монтре: чайки над озером, они что-то воинственно выкрикивают. Смутные ассоциации: чайки, лодка, блондинка в лодке... (Откуда это вдруг?) Набоков идет в газетный киоск. Газету он свернул так, что от названия осталось только три буквы: DIE. Мне известны две газеты «Дивельт» и «Дицайт», которую из двух взял Набоков? Вот он берет еще одну, на этот раз название можно прочитать: «The Washington Post». Набоков в шляпе и в клетчатом пиджаке.

Набоков играет в шахматы с женой. Доска — та самая из «Память, говори!» в бланжевую и красную клетку. Вера Набокова барабанит тонкими пальцами по столу, сразу становится ясно, что положение ее фигур на доске весьма драматично. Вежливые переговоры на несколько старомодном безупречном русском между противниками. Вера делает ход. Увы! Набоков берет ее офицера. Легкое замешательство в рядах противника, непродолжительное порхание руки над фигурами. Набоков целует руку у побежденной жены. (Я чувствую легкий укол зависти и утешаюсь глотком кока-колы.)

Единственная фраза, которую Набоков произносит по-немецки: «Ich möchte was schenken.» Подарок его вполне ощутим. Набоков утверждает, что «Montreux Palace» — лучшая гостиница на Лемане, а у меня проносится в голове идея в виде заголовка «Набоков и реклама». Звучит набоковская формула ценностей: *tenderness, talent, pride*. Под занавес Набоков читает свою пародию на Пастернака («Что же сделал я за пакость, // Я — убийца и злодей? // Я весь мир заставил плакать // Над красой земли моей.»): «Какое сделал я дурное дело, // И я ли развратитель и злодей, // Я, заставляющий мечтать мир целый // О бедной девочке моей?» Сначала по-русски, потом так же невозмутимо по-английски. «Poems and Problems» только что вышли в свет: 1971 год.

Набоков опустил книгу и стал долгим пронизательным взглядом смотреть в камеру, прямо в меня. Передо мной был великий артист и великий ум.

Интервью кончилось. Фрау Кайзерлинк вошла в комнату и выразительно посмотрела на меня. Я взглянула на часы: 15:45. Где мои вопросы? Я лихорадочно полезла в карман и вытащила сложенный листок. Я развернула его и прочитала:

Что за возня у нас с возницей —
Сидит себе, баклуши бьет.
Свалиться с воза он боится,
И лошадь с места не идет.

В замешательстве кончаю эту главку.

6.1. Шахматы

Фазиль Искандер предварил первую в Советской России публикацию (1986 год) шахматной задачи Набокова следующими словами: «Его вымысел порой вызывает восторг, но никогда — восторженные слезы. Его творчеству не хватает домашнего тепла...» Интересно было бы узнать, какая шахматная задача может вызвать слезы, ну разве что если задача слишком сложна. Признаюсь, я-то чуть не плакала над шахматной доской, ломая себе голову. Эта шахматная задача вошла в «Другие берега» (15-я глава), а позднее была включена и в «Poems and Problems» как первая в ряду других задач.

Очевидно, что она была чем-то особенно важна и дорога ее составителю. В Париже 1940 года, перед отплытием в Америку, Набоков провел многие часы над шахматной доской. Его волновал вопрос отплытия, жизни и смерти. Шахматы служили не только громоотводом, но и своеобразной аллегорией жизненной ситуации. Набоков пишет: «Настала наконец та ночь, когда мне удалось воспроизвести диковинную тему, над которой я бился. ...Помню, как я медленно выплыл из обморока шахматной мысли, и вот на громадной английской, сафьяновой доске в бланжевую и красную клетку безупречное положение было сбалансировано, как созвездие. Задача действовала, задача жила».

Я расставила фигуры на доске и задумалась. В «Шахматном обозрении», где эта задача была опубликована, было дано и решение (набоковское же): слон белых отступает под кавалерийским напором черного коня (вспомним, что Набоков как раз работал над своим первым английским романом «The Life of Sebastian Knight», шахматный конь дал фамилию главному герою). Но это отступление только видимость уступки, и белая королева побеждает противника, переступая с b6 на c7. Я собирала фигуры в недоумении, потом расставляла их вновь. Решение задачи меня ослепляло своей простотой и еще чем-то. И вот в один прекрасный вечер стройность композиции вдруг стала мне ясна. Уверена, что этот секрет уже давно не является секретом, и потому решаюсь его разгласить. На седьмой линии (а число 7 является мистическим числом, символом счастья: седьмое небо, например) выстраивается тройка белых фигур: король, пешка и королева: большая фигура, маленькая фигура, большая фигура. В таком именно порядке шли Набоковы к кораблю, увозящему их в Америку: отец, сын и мать. Наглядный символизм этой чистой абстракции шахматных фигур не может не вызывать восхищения.

6.2. О коровах

Поговорим о прозаических коровах на поэтических альпийских лугах.

Кто только не писал о вас, о швейцарские коровы! Поезд, несущийся мимо зеленых склонов, уже никак не может привлечь ваше снисходительное внимание. Я оглядываюсь на вас, люблю и (стыдно признаться в этом) вам немножко завидую. Вы так живописно развалились на травке, без оград и охраны, вы тем не менее чувствуете себя вполне вольготно, подставляя бока солнышку. Вы неторопливо жуете зеленую

массу, слегка шевеля чуткими ушами, чтобы согнать слишком надоедливых мух. Если же какой-нибудь слепень осмелится ужалить вас, вы встряхиваете головой, и колокольчик, заботливо повешенный вам на шею хозяйской рукой, напоминающий женское украшение в увеличенном масштабе, начинает издавать мелодичный звон. У швейцарских коров всегда довольный, сытый и (можете смеяться) умный вид. Если мне доведется в будущей жизни воплотиться в корову, я бы хотела жить в Швейцарии.

Заглянув в сборник по славистике, изданный цюрихскими и базельскими специалистами, я отметила интересную деталь: русские, оказавшиеся в Швейцарии до революции, никак не поразились швейцарскими коровами, их образ не взволновал ни одного литератора. Ни одного, за исключением Пушкина, который, как мы знаем, из России никогда не выезжал. Он познакомился с вывезенными из Швейцарии коровами в России и поместил их портрет в «Дубровском». В восьмой главе они преспокойно пасутся на «густо-зеленом лугу» перед домом князя Верейского, «звоня своими колокольчиками». Набоков совсем не упоминает о них. Зато они производили неизгладимое впечатление на советских гостей. Нет такого стихотворения советского поэта, залетевшего по официальному приглашению в мирную Швейцарию, где бы не упоминались коровы на лугу. Впрочем, эта пасторальная, в общем, картина почему-то вызывала выпады против буржуазии и мещанства. Связь коров и мещанства мне так и осталась не ясна. Или немещане держат своих коров в темном стойле? А молоко-то у свободных коров вкуснее! Не помню, где я почерпнула шутку о том, что швейцарцам удалось вывести породу самодоющих коров. Некоторые шутки оказываются настолько удачными, что со временем становятся правдой.

Едучи в Женеву как-то летним днем, я наблюдала следующую картину. На лугу стоит одинокий журавль и смотрит пристально куда-то. Куда же он смотрит? На группу коров из семи голов, стоящих от него в некотором отдалении и так же пристально глядящих на журавля. Коровы, должно быть, думали: «Du bist aber ein komischer Vogel!» Поезд помчался дальше.

7.1. Окрестности Sankt-Moritz

Вспоминая тень Германа, счастливо женатого на Лиде, задаю вопрос, что общего у бабочки с маслом. Любители каламбуров, не грозите пальцем! Как бы легко мы ни порхали сегодня над цветами жизни, когда-нибудь осыплется яркая краска с невесомых крылышек, и мы, побледневшие и осунувшиеся, осядем прямо на землю, и цветы будут безразличны к нашей судьбе.

Тех голубых бабочек, прямых родственниц неба, выращенных в вышних цветниках, за которыми с особой страстью охотился Набоков, мне удалось увидеть только раз в Sankt-Moritz. В заповедной зоне для охраны альпийских ботанических редкостей. Зимой — это рай для лыжников, поклонников зимнего солнца и морозного флирта. Летом — сачок и кожаные штаны до колен, зимой — лыжные ботинки и спортивные шапочки. Летом — Набоков, зимой — Хичкок. Хичкок любил встречать здесь Новый год с друзьями и близкими.

Вот она, голубокрылая, маленькая, садится на клевер, сводит вместе крылья и становится совсем невзрачной, серенькой, незаметной. Только мне видно, какая она, но я никому не скажу. Вот она вспорхнула и летит дальше, вот ее уже не видно. Я не ловлю, я наблюдаю. Жизнь моя — *vita contemplativa*. Рим далек, я удалился от дел, хлопотливая жизнь сенатора утомила меня. Я взбираюсь на горы, рву цветы и люблю озером. Кто осудит меня за то, что я не надеваю больше тяжелой тоги с красной полосой внизу? Я созерцаю, я пишу. Кто-то прошел совсем рядом, но трудно разглядеть

лицо, когда солнце светит так ярко, что в глазах слегка темнеет и хочется пить. Я пью родниковую воду, смотрю на часы и начинаю спускаться. До Базеля езды около четырех часов. Я иду по Via Titus к станции. На душе у меня тишина и покой, синева — над моей головой, кто сказал, что жизнь — бесконечный бой, тот сразился с бессмертной судьбой. Если Байрон прав, сказав: «Peace waits us on the shores of Acheron (not before)», то я уже блуждаю с некоторых пор по бледным лугам Гадеса.

7.2. Неучтивый поступок

Пушкин — Плетневу (7 сентября 1835 года):

Вы говорите справедливо,
Что странно, даже неучтиво
Роман не конча прерывать,
Отдав его уже в печать...

В Лозанне я спустилась к озеру и села на пароходик, плывущий в Монтре. «Виноградные берега да кудрявые облака», или, как выразился о том же предмете американский Олеша: «The shore is full of grapes, the sky of clouds». Весь берег составлен из отдельных зеленых кусочков, летнее одеяло из лоскутков материи одного цвета — лицо земли, выложенное малахитовой мозаикой, лицо нищего, который оказался загримированным Одоном и помог бежать бедовому королю Чарли в Америку. Молодой человек снимает на пленку все побережье. Он сходит в Монтре, я схожу вслед за ним.

Памятник Набокову перед отелем. Набоков сидит на стуле, только две ножки стула касаются земли. Он смотрит в сторону Шильонского замка. Я иду дальше, и мое внимание вдруг привлекает афиша; на ней изображен крылатый мужчина в латах, он красив загадочной красотой. Я стою перед афишей и смотрю. Рядом со мной стоит тот молодой человек, который плыл со мной на одном пароходике. На этом месте я прерываю эту невольную пародию на диссертацию, сознавая при этом всю неучтивость моего поступка. Мы встретимся.

Стихи

РАЙ, ОЛИМП И ПАРНАС

Есть две горы, и есть прекрасный сад:
Олимп, Парнас и Рай среди оград.
В Раю Адам и Ева, попугаи
Кричат бессмыслицу, Адаму подражая.
И тихим лепетом еще несмелых губ
Начнет архангелу молиться Ева вдруг.

А там, главу вздымая до небес,
Вершит судеб течение Зевес.
Кивнет: тотчас шлет Афродита сына
Со стрелами любви лететь в долину,
Где в хижинах, дворцах или домах
Проводят люди жизнь в обидах и страстях.

Не как Олимп высок и не как Рай беспечен,
Стоит Парнас, стихом увековечен.
Там водят музы дружный хоровод,
Слепой Гомер деянья славит греков,
Там очищаются страданья человеков,
И Феб им в утешение поет.

Парнас оброс шиповником и хмелем,
Гудят шмели, и зреет виноград;
Тот виноград мне сладок даже зелен,
Я на Парнас меняю райский сад.
И вот карабкаюсь наверх среди этих лоз,
Среди звенящих пчел, Ванесс и ос.

PAPILIONI NABOCVI

A sound of the innocent blue wings
Cannot be heard within the day noise.
There is no sense, you can by no means
Try to object or to conceal the choice.

On this blue planet can you dance a blues
Above the sea, above the sweetest meadow,
While being stone-firm as the own credo,
And willing not to play and willing not to lose?